

Одиночество и свобода

Учмт. газ. - 1995 - 17 янв. - с. 9.



Адамович Георгий Викторович

17.1.95

«Когда мы в Россию вернемся... о, Гамлет восточный, когда?» - эти строки одного из самых известных в русской эмиграции стихотворений принадлежат перу Георгия Викторовича Адамовича (1894-1972), поэта и литературного критика, родившегося в Москве и скончавшегося в Париже на 78-м году жизни.

После революции и гражданской войны Адамович, как и сотни тысяч других русских людей, оказался на чужой земле. Ему, может быть, повезло больше, чем другим: стихи и критические статьи печатал в лучших журналах и альманахах русского зарубежья. Авторитет Георгия Викторовича в среде русского литературного Парижа был непререкаемым, молодые поэты и писатели тянулись к нему. Он требовал прежде всего классической ясности во всем, что выходило из-под пера изгнанников поневоле. Эти принципы вошли в историю литературы под названием «парижская нота».

«Одним из последних лучей казого-то чудесного русского дня» назвала его Ирина Одовецца.

Виктор ЛЕОНИДОВ, заведующий архивом-библиотекой Российского фонда культуры

Архив

За последние тридцать лет было очень много споров об эмигрантской литературе: пора бы, кажется, и подвести итоги. Нелегко, однако, за такое дело взяться, в особенности с намерением навести в этих разногласиях порядок, признать такое-то суждение основательным, другое ошибочным. Наведет порядок одно только время.

Вспоминая все, что было об эмигрантской литературе сказано, вздумавшись в разноречивые оценки, отзывы или даже пророчества, приходишь к убеждению, что удавалось добиться стройности в этой области преимущественно тем, кто вопрос упрощал. Отбросить сомнения и колебания - в ту или другую сторону - оказывался в силах лишь тот, кто заранее устанавливал, к какому выводу ему желательнее прийти, или же кто не все видел, не на все обращал внимание. Как в медицине: врач рассеянный, торпливый, а в особенности по природе ограниченный легче ставит диагноз, чем другой, выходящий в почти бесконечную сложность человеческого организма, в загадочность его двоящейся духовно-физической сущности. Большей частью, однако, была не близорукость, а именно предвзятость, окрашенная в политический тон и как бы выносившая политическое мерило за скобки чисто литературных суждений. Сводилось это к одному из двух положений: или в эмиграции ничего быть не может, творчество существует лишь там, в советской России, какими бы тисками зажато оно ни было; или в советской России - пустыня, все живое сосредоточилось здесь, в эмиграции.

Не буду сразу называть имена. По русской склонности к крайностям дело доходило порой до очевидных нелепостей, отстаивать которые можно было лишь в состоянии запальчивости и раздражения. Помню, на одном из бесчисленных парижских диспутов докладчику, под конец вечера, так сказать, совсем «закусившему удила», кто-то из публики крикнул: «Что же, по-вашему, значит, Бунину следует учиться у Фадеева?» Докладчик, не задумываясь, ответил: «Да, да, именно учиться у Фадеева...» - и, почувствовав, вероятно, что в таком «лапидарном» виде заявление чересчур уж смехотворно, добавил: «... учиться правде». Формула достаточно расплывчатая, чтобы подставить под нее можно было все, что угодно. Впрочем, может быть, в крайностях именно отрицательного, пренебрежительного типа сказались и нечто другое, - да ведь это черта тоже характерная русская, отчетливо обнаруживавшаяся еще давно, в прошлом веке, например, у некоторых наших западников: уверенность, что «наше», наверно, хуже «не нашего», - только потому, что это «наше», а то - «не наше», ни по чьему другому! - некое духовное поражение, согласно на сдачу до проверки, соревнования или боя... Много было высказано суждений парадоксальных, вплоть до заявлений, что «столица русской литературы - Париж» (на одном из заседаний «Зеленой лампы», под символические рукоплескания Мережковского). Были запальчивость, раздражение, было поражение и рядом - изрядная доля самодовольства. Было - что же скрывать! - и немало легкомыслия.

Установим истины, не подлежащие ни сомнению, ни отрицанию.

Иначе как с заведомым желанием признать черное белым, а белое черным, нельзя утверждать, что эмигрантская литература не дала произведений ценных по своим художественным достоинствам. Надо надеяться, что времена, когда это говорилось, прошли, и прошли безвозвратно. Упрек, который делается и до сих пор, - упрек несколько иного рода: да, - нередко читаем и слышим мы, - да, в эмиграции вышло много прекрасных книг, однако в целом эмигрантская литература оказалась не на высоте. Почему? Потому, что она будто бы не поняла времени, не уловила особого «заказа», данного ей эпохой и историческими условиями, словом, продолжала быть «литературой вообще», «литературой как ни в чем не бывало», между тем как надлежало ей стать литературой исключительной, библейски-патетической, гневной, страстной, бичующей, взывающей к небу...

При подведении итогов надо было бы по мере сил держаться в стороне от споров.

Нет, не так все было слабо, серо и вяло в здешней литературе, как уверяли нас иногда, - и даже не только со стороны художественной... После оскорблений, которых эмигрантская литература вдоволь наслушалась, после ледяного равнодушия, которым была окружена, после бесчисленных окриков и поучений на тему о том, каким путем надлежит ей идти, хочется наконец сказать: спасибо, многое было сделано, и когда-нибудь Россия еще признает это! Русское достоинство, поскольку с существованием литературы в эмиграции оно было свя-

зано, оказалось спасено. Многие были найдены, многие переданы, на многие послыло отведено... А о ледяном равнодушии стоило бы, кстати, поговорить особо: писатели-эмигранты чувствовали его не только со стороны иностранцев, особенно во Франции, самой безразличной ко всему чужеземному стране в мире, но и со стороны соотечественников...

Ну а что не нашлось среди писателей-эмигрантов Толстого или Достоевского, которые потрясли бы мир новым «Не могу молчать» или новой беседой Ивана с Алешей на тему о новом - многомиллионном - «замученном ребенке», кого же за это укорять? Будем скорей благодарны за то, что по общему молчаливому уговору - хоть и с некоторыми досадными исключениями - не было аляповатых подделок под рассчитанные на всемирный резонанс вопли, что были скромность, серьезная сосредоточенность, отвечающие значительности исторических судеб. Мы сами себя поносили, сами себя восхваляли, с амплитудой в колебаниях, идущей от ученичества Бунина у Фадеева до российской столицы - Парижа, как и полагаются в наших отечественных спорах, но пора бы спокойно оглянуться на прошлое и, ничего не преувеличивая, признать, что понятие творчества в эмиграции искажено не было, духовная энергия на чужой земле не иссякла и когда-нибудь сама собой включится в наше вечно, общее русское дело.

Как трудно, как трагически исключительны условия - в обоих смыслах, внешнем и внутреннем, - какое содержание заключено в слове «эмиграция», далеко не всеми было понято. А если и было понято, то далеко не сразу, что, впрочем, и естественно. По-видимому, такой человек, как Бунин, с душой менее всего «ущербленной», человек, ко всему ущербному мало пылкий, человек, душевно округленный, без трещин в сознании, без любопытства или внимания к тому, что в такие трещины иногда проникает, по-видимому, Бунин, с недоумением спрашивавший: «Что же, уехал я из Беловского уезда, значит, и перестал быть русским писателем?» - с презрением отбрасывал всякие попытки доказать, что какие-то изменения все-таки произошли и отразиться могли бы. Бунин другим не пример, он сам себя питал, и его духовного достоинства хватало бы ему надолго. Да и вопрос его, в придуманной им для него форме, умышленно ироничен. Этот вопрос - западня: ответ утвердительный был бы несомненным абсурдом. Ходасевич утверждал, - и правильно утверждал, - что сам по себе факт пребывания на чужой земле не составляет для творчества препятствия, и ссылался на эмиграцию французскую, польскую и даже на Данте. По-своему он повторял довод Бунина насчет Беловского уезда: люди мы, мол, взрослые, Россию помним, языка русского не забываем, - что же может помешать нам писать в Париже, Шанхае или в Нью-Йорке так же хорошо, так же усердно и обильно, как писали мы в Москве или Киеве?

Кое-что, однако, помешать может. Было бы странно, если бы в эмигрантской литературе безмятежное спокойствие оказалось одной из основных черт. Правда, чуть-чуть было, пожалуй, его все-таки больше, чем естественно было бы ждать, - и этого незачем затрусовывать. Никакого стройного баланса подвести нельзя, разве что стремиться во что бы то ни стало сгладить все углы, любой ценой подвести все под одну мерку, - скажу это еще раз... Но если и был некоторый избыток невозмутимости, то именно потому, в конце концов, что не нашлось у нас Толстых и Достоевских, а вовсе не потому, что в факте эмиграции не заключалось бы повода для тревоги. Наша литература жила - и живет до сих пор - в очень трудной духовной обстановке, и это вызывает - даже оправдывает - двойственное к ней отношение. С одной стороны, тянет иногда предьявить ей особый счет, с другой, - хотя и в силу тех же соображений, - заставляет признать неизбежными некоторые ее слабости и некоторую ее растерянность.

Данте, «Божественная комедия»... Воспоминания эти столь подавляюще величественны, что остается как будто только умолкнуть. В самом деле, если вдохновеннейшая в мировой литературе поэма могла возникнуть в изгнании, что же вздыхать тем, что ни при каких условиях ничего даже отдаленно похожего с ней создать не мог бы! Аргумент на первый взгляд обезоруживающий, и даже если бы не было рядом ссылки на поляков и французов, изгнание и изгнанничество лишилось бы благодаря ему черт, несовместимых с творческим преуспеванием. Данте, как известно, ел «горький хлеб изгнания», результаты, однако, оказались неплохими.

Но ведь это совсем не то...

Между бегством Данте из одного итальянского города в другой с сохранением того же жизненного уклада, с уве-

ренностью, что политическое преследование не связано ни с какими коренными, окончательными переменами и изменениями, в те времена и не мыслимыми; даже между горечью и ожесточением поляков, удрученных политическим исчезновением родины и несчастьями патриотов; между всем этим и тем, что произошло с нами, знака равенства ставить никак нельзя. Мы стоим на берегу океана, в котором исчез материк, - и есть, вероятно, у всех эмигрантов чувство... что если бы даже домой мы еще и вернулись, то прежнего своего «дома» не найдем, и пришлось бы нам по-новому ко всему присматриваться и многому переучиваться. Нередко говорят: Гоголь писал «Мертвые души» в Риме, а не в России, Тургенев писал свои романы во Франции... Что общего? - хочется спросить. Даже если бы Гоголь и Тургенев в Россию не наезжали, у них из их «прекрасного далека» под «римским божественным небом» или в имении Полины Виардо не было сознания, что мосты разрушены, путей нет и что творится на родине нечто неведомое, грозно-незнакомое, чреватое непредвиденными последствиями. Герцен «с того берега» знал, что въезд в Россию для него закрыт, и едва ли рассчитывал, что может это еще при жизни его измениться. Но потонувшего мира не существовало и для него. Он мог писать, мог размышлять о необходимости таких-то реформ или социальных преобразований, но спускаться к самым корням и основам существования, тревожиться о том, как будет человек жить в дальнейшем, что сбережет он из прошлого, от чего откажется, чему научится новому, ему не приходилось.

Не то, не то... Оставим поэту ничемные, годящиеся лишь для никчемной полемики параллели. Для того, что случилось с русской интеллигенцией, отказавшейся примкнуть к большевизму, параллелей в истории нет, и, конечно, это не могло не отразиться на литературе. Думаю, что у некоторых, наиболее значительных наших писателей-эмигрантов воспоминания о прошлом - столь близкие сердцу читателей, столь их умиляющие и волнующие, - воспоминания эти были до известной степени безотчетным ответом на коренные, основные недоумения, обращенные к будущему. Истинный, глубокий их смысл был именно в этом.

Нередко приходится убеждаться, что именно тем людям, которые особенно охотно и красноречиво говорят о личности, о свободе, о вольном и независимом творчестве, недостает уважения к этим понятиям. Относится это в данном случае к нашей литературной критике. Если вспомнить все то, что было за последние десятилетия русскими критиками написано, изумляет стремление к тому, чтобы давать писателям непрошенные уроки и, в частности, толкать их к подмене их собственной темы темой, которую критик считает желательной и наущно «актуальной». Правда, можно возразить, что такова исконная русская традиция: учил Белинский, и порой даже самых великих своих современников, учили по мере сил и его преемники. Но, во-первых, даже и в прошлых уроках далеко не все бывало удачно, во-вторых, Белинский и его последователи учили тому, что было не их личной выдумкой, а общим содержанием эпохи, и сколько бы нас порой ни смущала их самоуверенность, - даже в таком классическом образце нравоучительной литературы, как письмо Белинского к Гоголю, - все же надо помнить, что это самоуверенность не лица, а века, убежденного в неопровержимой окончательности своей мудрости. Да и что, в конце концов, простительно Белинскому, то не так легко простить Иксу или Игреку!

Разумеется, было бы прискорбно, если бы в такие времена, как наши, писатели продолжали «пописывать», а читатели - в ответ - «почитывать». Но этого на верхах эмигрантской словесности не было. А так как человек живет лишь один раз и так как писателя, которому «есть что сказать», никакие мировые драмы не могут полностью отклонить от этого личного, данного ему Богом или судьбой назначения, так как человек, в особенности человек творческий, - не только «продукт», то и нельзя было требовать, чтобы Бунин или Мережковский, или Алданов, или Зайцев, или Гиппиус, - называю имена, прежде других вспомнившиеся, вне всякой связи с их индивидуальными свойствами, - нельзя было требовать, чтобы занимались они исключительно темами современными, а тем более злободневными. Сами того не замечая, люди, этого требовавшие или до сих пор так же настроенные, переходят во враждебный им лагерь и приносят столь дорогое им понятие «личности» в жертву какому-то воображаемому, ненасытному Молоху. Да и что такое совре-

менность? Можно представить себе повесть или поэму без единого мотива, непосредственно и наглядно связанного с текущими событиями, и все-таки более «современную» в истинном смысле слова, нежели любое рифмованное переложение газетной передовой статьи. В такие эпохи, как наши, - эпохи-экзамены, эпохи-испытания, - современно то, что на умственном и эмоциональном уровне ее, вовсе не только то, что именно о ней говорит. Бунина упрекали за воспевание чего-то вроде разорения «дворянских гнезд», Мережковского упрекали за Египет или вариации на библейские темы... Допустим, что действительно бывали они не «современны». Но могли бы они остаться вполне современны и в этих областях, а если, случилось, они современности изменили, то, очевидно, по оплошности внутренней, а никак не по тематическим причудам. С Буниным, впрочем, да, в сущности, и с Мережковским, этого не случилось.

Во имя того же принципа - свобода, личность, творчество - следует, конечно, признать, что и непосредственный отклик на события не может быть предметом упрека. Нет, ни в коем случае, - и скажу мимоходом, часто мне представляется, как ужасна слепая ошибка истории, то, что такого человека, как Достоевский, она вылипла, создала, выпустила в мир лет на семьдесят-восемьдесят раньше, чем следовало бы. Никто не откликнулся бы на то, что принес с собой двадцатый век, так, как сделал бы это он! Поистине, камни возопили бы, небо содрогнулось бы от тех его огненных страниц, которые живут теперь лишь в нашем бессильном воображении...

То, что в нашу эпоху случилось с людьми, случается раз в тысячелетие, если не реже. За всю историю России не было примера, чтобы человек остался без всякой опоры, без какой-либо поддержки где бы то ни было, откуда бы то ни было. Опыт эмиграции - углубленный, очищенный от неизбежных житейских невзгод, «сублимированный», как любил выражаться Бердяев, - в этом отношении стоит опыта советского. Там говорят - «восходящий класс», «нисходящий класс». У «восходящих» все превосходно, у «нисходящих» все ничтожно и отвратительно, со всеми отсюда последствиями. Что же, допустим! Но ведь это звериное, волчье рассуждение, - и не то чтобы эмигрантская литература на него возражала, нет, она его перечеркивает, она его уничтожает, она противопоставляет трепещущую жизнь истину идеологическим схемам и бездушной статистике. Думаю, что резюмировать этот сложный, смутный, наполовину безотчетный и ускользающий от точных определений процесс можно было бы, сказав, что эмигрантская литература сделала свое дело потому, что осталась литературой христианской. Не придаю этому слову никакого «конфессионального» оттенка, говорю лишь о характере и общем источнике вдохновения. О Буние, кстати, кто-то сказал, - не помню, кто именно, - с удивительной, почти розановской остротой и тонкостью чутья и все-таки не вполне верно, - что он пишет так, «будто Христос никогда не рождался». Да, в том смысле, в каком это можно бы сказать и о раннем Толстом: в проходящем через все бунинское творчество ощущении первобытной безгрешности природы. Нет, - если уловить грусть и нежность этого творчества (то, что не в пример другим символистам у Бунина уловил Блок) и если вдуматься в его мораль. Ликвидация христианства, торпливое замазывание великой бреши, «великого смущения», внесенного в развитие мировой культуры христианством, - вот с чем в конце концов и в последнем счете не могли мы здесь примириться. Никакие завоевания и достижения - даже если произнести эти слова без привычной эмигрантской иронии - такой цены не оправдали бы.

Георгий АДАМОВИЧ

Нью-Йорк, 1955 год